

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## “ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

### Глава 19. “Орфеи сермяжные”

1918-м годом Есенин датировал своё, посвящённое Клюеву, стихотворение “Теперь любовь моя не та...”

*Теперь любовь моя не та.  
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь  
О том, что лунная метла  
Стихов не расплескала лужи.*

*Грустя и радуясь звезде,  
Спадающей тебе на брови,  
Ты сердце выпеснил избе,  
Но в сердце дома не построил.*

*И тот, кого ты ждал в ночи,  
Прошёл, как прежде, мимо крова.  
О друг, кому ж твои ключи  
Ты золотил поющим словом?*

*Тебе о солнце не пропеть,  
В окошко не увидеть рая.  
Так мельница, крылом махая,  
С земли не может улететь.*

Стихотворение, по-своему, удивительное, и удивительнее всего в нём строки: “Ты сердце выпеснил избе, но в сердце дома не построил”. Это – об “Избяных песнях”, которые Есенин, как он сам писал и говорил недавно, – “ценит и признаёт”. Чего же стоит это “признание”, если “признаваемый” не может выстроить “дома” в своём “сердце”?

Ключ к этому стихотворению, и, в частности, к этим строчкам, мы находим, как это ни парадоксально, у Василия Розанова.

Для Есенина это имя на какое-то время стало путеводным.

“Есенин читает В. Розанова, — вспоминал Иван Грузинов. — Читает запомним. Отзывается о Розанове восторженно. Хвалит его, как стилиста. Удивляется приёмам его работы. Розанов в это время для него, как поветрие, как корь. Особенно нравились ему “Опавшие листья”.

Стоим под аркой в кафе “Домино”, под аркой, разделявшей “Домино” на два зала. Есенин упоминает об одной из книг Розанова.

Я спрашиваю его:

— А ты был, Сергей, знаком с Розановым?

— В Петербурге, когда я юношей приехал туда, я познакомился с Розановым. Розанову нравились мои стихи. Однажды Розанов, встретив меня, приласкал, как мальчика, погладил по голове и сказал: “Пиши, пиши! Хорошие стихи пишешь!”

По сути во влечении Есенина к парадоксалисту Розанову всё же не было ничего парадоксального. Не только “Опавшие листья” он штудировал в то время (Грузинов отнёс свои воспоминания к 1919 году, но пристальное чтение это началось раньше, в период запойной работы над “Ключами Марии”). И проинтерпретировал Сергей своего нового “учителя” совершенно нетривиально.

В книге “Среди художников” в статье, посвящённой сборнику сказок А. М. Смирнова-Кутачевского “Иванушка-дурачок”, Розанов дал замечательный по-своему портрет хрестоматийного героя русских народных сказок. “Что же такое этот “дурак”? Это, мне кажется, народный потаённый спор против рационализма, рассудочности и механики, — народное отстаивание мудрости, доверия к Богу, доверия к судьбе своей, доверия даже к случаю. И ещё — выражения предпочтения к делу, а не к рассуждениям, которые так часто драпируют собой тунеядство и обломовщину. Посмотрите-ка на дурака в работе, — хочется аплодировать...”

В слишком многих домах у русских всё доброе и крепкое принадлежит действительно “дураку”, то есть “придурковатому” сыну в ряду других детей, придурковатому “брату” среди способных братьев, но которые благодаря своей “талантливости”, во-первых, ничего не делают, а во-вторых, доходят до разных “художеств”, приводящих их даже в тюрьму. Эти талантливые “натуры”, очевидно, развалили бы весь дом — развалили и растащили, если бы не “дурак”, которому “художества” и проступки и на ум не приходят, который только ест и работает, — ну положим, как лошадь или корова (если случится быть “дуре-сестрице”, что случается). Но ведь и в дому крестьянском лошадь явно полезнее пьющего человека, озорного человека, лентяя-человека... В элементарной жизни, какова русская старая и русская деревенская до сих пор жизнь, “дурак” и всё множество действительных “дураков” играют огромную строительную и огромную сохранительную роль... И можно сказать, чуть-чуть преувеличив, что деревня только и живёт “стариками да дураками” среди склонной “закучивать” молодёжи и умников...”

А теперь вспомним письмо Есенина Иванову-Разумнику двухлетней давности, где Сергей подчёркивал, что назвал Клюева “средним братом... Значение среднего в “Коньке-горбунке”, да и во всех почти русских сказках — “так и сяк”...”

И лишний раз проакцентировал: Клюев “только изограф, но не открыватель”.

И получалось, что именно Есенин — в отличие от Клюева — “играет огромную строительную и огромную сохранительную роль”. И получалось, что прежний дом рухнул стараниями старших и средних “талантливых “натур”... При том, что к этому времени кардинально начал меняться сам есенинский образ жизни — и уж, скорее, Клюев мог бы поглядеть на своего “меньшого брата”, как на “пьющего человека, озорного человека, лентяя человека” (так и поглядит впоследствии). А для Есенина “всё доброе и крепкое” в его поэтическом хозяйстве — взято не просто из клюевских ларцов... Вынута из клюевских рук, ослабевших и не могущих, в глазах “младшего”, удержать собственное сокровище, на осмыслении которого и выстроится гениальные “Ключи Марии” с отсылкой к Клюеву уже в самом названии трактата и примечании к нему: “Мария на языке хлыстов шелапутского толка означает душу”.

“Шелапуты”, с которыми встречался Клюев в Рязанской губернии и о которых рассказывал Есенину, не имели отношения к “хлыстам”. Их называли “шалыми людьми” за то, что они сторонились религиозной догматики, полагая: Бог создал всех равными, все мы его дети. Если человек поступает по

Божьим законам, значит, у него в душе рай и рай вокруг него. Если человек носит в душе ад – он разрушает гармонию и в себе и в окружающем мире. Они отличались чистотой нравов, трезвостью и трудолюбием.

Гармония души в орнаменте и слове – вот предмет пристального рассмотрения в “Ключах Марии” с проекцией её в будущий мир: “Будущее искусство, – писал Есенин, – расцветёт в своих возможностях достижений, как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где “избы новые, кипарисовым тёсом крытые”, где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сычёною брагой”.

Отталкиваясь от смысла, вкладываемого Клюевым в азбучные символы, воплощённого в “Поддонном псалме” (“Аз Бог Ведаю Глагол Добра – Пять знаков чище серебра; за ними вслед: Есть Жизнь Земли – три буквы – златом корабли, и напоследок знак Фитá – змея без жала и креста...”) – Есенин вкладывает в каждый из азбучных знаков свой смысл: “Начальная буква в алфавите **а** есть не что иное, как образ человека, ошупывающего на коленях землю... Буква **б** представляет из себя ошупывание этим человеком воздуха... Прочитав сущность земли и почувствовав над нею прикрытое синим сводом пространство, человек протянул руки к своей сущности. *Пуп* есть узел человеческого существа, и поэтому, определяя себя или ошупывая, человек как-то невольно опустил свои руки на эту завязь, и получилась буква... Волнообразная линия в букве Фитá (⊕) означает место, где оба идущих должны встретиться. Человек, идущий по небесному своду, попадёт головой в голову человеку, идущему по земле. Это есть знак того, что опрокинутость земли сольётся в браке с опрокинутостью неба...”

Беря из Клюева, можно сказать, горстями, используя читанное у него и слышанное от него, Есенин жёстко отодвигает своего учителя в прошлое, в пространство “слепоты нерождения”, поминая неявно Осипа Манделъштама с его “курчавыми всадниками”, бьющимися “в кудрявом порядке” и явно – Обри Бердслея, чей рисуночный абрис воинов, вправленных в растительный орнамент, в самом деле напоминал вьющуюся виноградную лозу, увешанную гроздьями: “Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, всё сплошь стало идиллией гладко причёсанных английских гравиюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников. То, что было раньше для него сверлением облегающей его коры, теперь встало вставкой в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни он повеял на нас безжизненным кружевным ветром Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужичий мозоль, вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошёл не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и “изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие”, ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона”.

Жизнь человеческой души, образы, рождаемые душой, – вот что главное для Есенина. “Слышу твою душу”, – вспоминались ему слова Клюева, и оказывалось, что тайна есенинской души ныне недоступна для Николая. И получалось, что один Есенин способен “слышать царство солнца внутри нас”, что он “разгадал тайну наполняющих его образов”, ибо “человеческая душа слишком сложна для того, чтобы заковать её в определённый круг звуков какой-нибудь жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые её запружают, ибо, вырвавшись бешеным потоком, она первыми сметает их в прах на пути своём. Так на этом пути она сметала монархизм, так рассосала круги декаданса, импрессионизма и футуризма, так сметёт она и рассосёт сонм кругов, которые ей уготованы впереди”.

Клюевский “круг” разорван, и сам клюевский образ, оказывается, “построен на заставках стёртого революцией быта. В том, что он прекрасен, мы не

можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновлённой души и потому должен быть предан земле. Предан земле потому, что он засталяет Клюева в такие священнейшие дни обновления человеческого духа благословить убийство и сказать что “убийца святых потира”. Это старое инквизиционное православие, которое, посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьём вместо змия самого Христа”.

“Средний сын”, бывший ближайший друг и учитель, который “и так, и сяк”, погнавшийся “за яркостью красок”, оказывается “разрушителем” дома, воплощением “рационализма, рассудочности и механики” – на одной доске с “подглюповатым футуризмом”, ненавистным самому Клюеву, и Оскаром Уайльдом... Можно себе представить, как читал Николай “Ключи Марии”, вышедшие отдельной книжечкой в марте 1920-го, как прозревал есенинский “ход” в обращении к Розанову, прекрасно знакомому Клюеву, и к “шелапутам”... Тонко и мудро вывернул всё “младший”, а у старшего кровь в висках стучала и сердце заходило от боли... А ещё и посвящение “с любовью” Анатолию Мариенгофу, также, видать, “посвящённому” – бездари без души, без любви, без благоговения, читая которого, не об “инквизиционном православии” вспоминать, а крестным знаменем осенять себя впору.

*Мётлами ветра будет  
Говядину чью подместь.  
В этой черепов груди  
Наша красная месь!*

*Кричу: “Мария, Мария, кого вынашивала!..  
Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..”*

И куда же это, и к кому это занесло Серёженьку! Бес крутит, змей манит, а человек – он слаб... Ушёл от друга и покровителя, в “вожди” подался – и чем изощрённее, чем умнее опорочит оставленного, тем значительнее почувствует себя. В новом окружении. Среди сущих бесенят, на которых и не взглянешь без страха за душу ушедшего.

И ведь – ни слова осуждения “младшему” на людях. Наоборот – во всех статьях газетных и речах произнесённых лишь самое высокое о нём. Есенин для Николая – в синклите избранных.

“Одним из проявлений художественного гения народа было прекраснейшее действие перенесения нетленных мощей, всенародная мистерия, пылинки которой, подобранные Глинкой, Римским-Корсаковым, Пушкиным, Достоевским, Есениным, Нестеровым, Врубелем, неувыдаемо цветут в саду русского искусства. Дуновение вечности и бессмертия, вот цель великого артиста, создавшего “Действо перенесения” (“Самоцветная кровь”).

“Путь к подлинной коммунальной культуре лежит через огонь, через огненное испытание, душевное распятие, погребение себя, ветхого и древнего (не попались Есенину на глаза эти строки! – С. К.), и через воскресение нового разума, слышания и чувствования. Почувствовать Пушкина хорошо, но познать великого народного поэта Сергея Есенина и рабочего краснопевца Владимира Кириллова мы обязаны” (“Порванный невод”).

И тогда же – предисловие к есенинской подборке стихов в “Звезде Вытегры”:

“Поэт-юноша. Вошёл в русскую литературу, как равный великим художникам слова. Лучшие соки отдала Рязанская земля, чтобы родить певущий лик Есенина.

Огненная рука революции сплела ему венок славы как своему певцу.

Слава русскому народу, душа которого не перестает источать чудеса даже среди великих бедствий, праведных ран и потерь!”

В письме же к Виктору Миролюбову, написанном осенью 1919 года, не скрывал Клюев своей горечи.

“Принял Ваше письмо со слезами – оно, как первая ласточка, обрадовала меня несказанно. Никто из братьев, друзей и знакомых моих в городах не нашёл меня добрым словом, кроме Вас. На што Сергей Александрович Есенин, кажется, с одного куска, одной ложкой хлебали, а и тот растёр сапогом слёзы мои.

Молю Вас, как отца родного, потрудитесь, ради великой скорби моей, сообщите Есенину, что живу я как у собаки в пасти, что рай мой осквернён и разрушен, что Сирин мой не спасся и на шестке, что от него осталось единое малое перышко. Всё, всё погибло. И сам я жду гибели неизбежной и беспесенной. Как зиму переживу – один Бог знает. Солома да вода – нет ни сапог, ни рубахи. На деньги в наших краях спички горелой не купишь. Деревня стала чирьем-недотрогой, завязла в деньгах по горло. Вы упоминаете про масло, но коровы давно съедены, молока иногда в целой деревне не найти младенцу в рожок...

Белогвардейцы в нескольких верстах от Пудожа. Страх смертный, что придут и повесят вниз головой, и собаки обглодают лицо моё. Так было без числа. Я ведь не комиссар, не уцелею. Есенин этого не чувствует. Ему как в союзной чайной – тепло и не дует в кафе “Домино”. Выдумывают же люди себе стену нерушимую! Приехал бы я в Москву, да проезд невозможен: нужно всё “по служебным делам”, – вот я и сижу на горелом месте и вою как щенок шелудивый. И пропаду, как вошь под коростой, во славу Третьего Интернационала...”

Кафе “Домино” Клюеву хорошо запомнилось. Зимой того года, будучи в Москве, встретился он с Есениным и пришёл вместе с ним на “Вечер молодых поэтов”. В окружении Александра Кусикова, Тараса Мачтета, Николая Адуева, присутствии других друзей-имажинистов Есенин чувствовал себя королём и держался, как хозяин всего окружающего. Атмосфера набухла, периодически раздражаясь очередным скандалом с выкриками публики и ответными репликами “поэтов”, а с эстрады звучало такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Николай не выдержал, встал и ушёл, вскоре уехал в Вытегру и оттуда написал Есенину письмо – с нелюбимыми оценками виденного и увещеваниями. Текст его неизвестен, и о содержании и реакции на это послание Сергея можно судить лишь по “художественным” мемуарам Анатолия Мариенгофа.

Упомянув о том, как Пимен Карпов и Орешин “выясняли отношения” с Есениным по поводу имажинизма, мемуарист переходит к клюевскому письму:

“Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд не пименовского чета и желчь не орешинская. Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его назубок от буквы до буквы. Желтел, молчал, супил брови и в гармошку собирал кожу на лбу. Потом три дня писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя её разными сторонами и на всякий манер, словно тифлисский духанщик над огнём деревянные палочки с кусками молодого барашка. Выволакивал из тёмных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас Миколушкин “сокол ясный”. Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева”.

Вся эта живописная сцена не имеет никакого отношения к действительности. Никакого ответного письма Есенин не писал, о чём год спустя уведомил Иванова-Разумника: “Ну, а что с Клюевым? Он с год тому назад прислал мне весьма хитрое письмо, думая, что мне, как и было, 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нём ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление произвели довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера, и порой довольно утомительная. Но всё же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, какой ошущью вот теперь он пойдёт?”

Суть, на самом деле, была не в манере. Оба с разных концов подходили друг к другу, чтобы сойтись в жёсткой мировоззренческой полемике. Есенин свой ход уже сделал. А в письме к Ширяевцу, написанном летом 1920 года, удивительным образом переключаемся тональностью и отдельными жизненными реалиями с клюевским письмом к Миролюбову, Сергей высказывал своим претензии к Николаю никак не “формального” порядка.

“Живу, дорогой, – не живу, а маюсь. Только и думаешь о проклятом рубле. Пишу очень мало. Со старыми товарищами не имею почти ничего, с Клюевым разошёлся, Клычков уехал, а Орешин глядит как-то всё исподлобья, словно съест хочет...”

А Клюев, дорогой мой, – Бестия. Хитрый, как лисица, и всё это, знаешь, так: под себя, под себя. Слава Богу, что бодливой корове рога не даются. По-

ползновения–то он в себе таит большие, а силёнки–то мало. Очень похож на свои стихи, такой же корявый, неряшливый, простой по виду, а внутри чёрт...”

Это вам не “утомительная манера”, о которой будет потом писано Иванову-Разумнику. И всё же поразительно: подобную претензию, скорее, Клюев мог бы предъявить стихам Есенина 1919–1920 годов, чем наоборот. (И ведь предъявит...) Тем паче, что дальше разговор о “Китеже” и “рисунка старообрядчества” никак не может предполагать “корявость” и “неряшливость”... Но Есенину не до связных логических концов. Он стремится предупредить Шириявца о возможном “зловредном” влиянии Клюева, которого намерен уложить “в гроб”.

“...Брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с её несуществующим Китежем и глупыми старухами, не такие мы, как это всё выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Всё это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого пахнет, а тебе нет...”

...Тут Клюев получил неожиданную “помощь” от человека, с которым, казалось, давно и навсегда разорвал всякие отношения. От Сергея Городецкого, осевшего на Кавказе и печатавшего в местных газетах кроме стихов и поэм также критические статьи, в которых фигурировали и Есенин, и Клюев, и Алексей Ганин.

Но не статьи попались Клюеву на глаза, а газетный лист со стихотворением Городецкого “Орфеям Севера”.

*Эй вы, Орфеи сермяжные,  
Соловьёвца лесные, овражные,  
Чёрных полей голытьба!  
Песней натужьте лохматую грудь!  
Подступила судьба  
Сладко, привольно, как Волга, вздохнуть  
Всеми мехами груди миллионов,  
Намозоленной бременем стонов.*

.....  
*Ковш захмеляющий брагою вспенен,  
Песни звончей поцелуев.  
Здравствуй, зелёный Сергунька Есенин,  
Здравствуй, замшелый Микола, сын Клюев.  
Здравствуйте все, именами незнамы,  
Китеж подводный, Кремль чернозёма,  
Каждому радуюсь радугой грома!*

Обрадованный Клюев ответил Городецкому летом 1920 года сердечным письмом:

“Возлюбленный мой!

Прочёл в газетах твои новые, могучие песни и всколыхнулась вся внутренняя моя. Обуяла меня нестерпимая жажда осязать тебя, родного, со страдной думой о новорожденной земле и делах её...

Так много пережито в эти молотобойные, но и слепительно прекрасные годы.

Жизнь моя старая, личная сметена дотла. Я очень страдаю, но и радуюсь, что сбылось наше – разинское, самосожженческое от великого Выгова до тысячелетия индийских храмов гремящее.

Но кто выживет пляску земли освободительной?!.

Где Есенин? Наслышан я, что он на всех перекрёстках лает на меня, но Бог с ним – вот уж три года, как я не видал его и строчки не получал от него.

Как смотришь – на его дело, на имажинизм?

Тяжко мне от Мариенгофов, питающихся кровью Есенина, но прощаю и не сужу, ибо всё знаю, ибо всё люблю смирительно...

Трудно понимают меня бетонные и турбинные, вязнут они в моей соломе, угарно им от моих избяных, кашных и коврижных миров. Но любовь – и им...”

Текстом этого письма Городецкий потом поделится с питерскими журналистами (не в первый раз строки из личных клюевских писем ходят по рукам

и проникают в печать!), а о Мариенгофе и Есенине, уже после гибели последнего, напишет и опубликует такое, что Ключеву станет окончательно не до общения с ним... Но это — впереди. А ныне... Реальная действительность ничего общего не имеет с ключевской мифологией, и остаётся лишь рассчитывать на чудные сны, когда-то воплощающиеся в земном бытии.

*Родина, я грешен, грешен,  
Богохульствуя и кляня!..  
Осыпается цвет черешен —  
Жемчуга Народного дня.*

*Не в окладе Спас, а в жилетке  
С пронырою — кодаком...  
Прочитают внуки заметки  
О Черепе под крестом...*

.....  
*И над Суздальскою божницей  
Издевается граммофон...  
Пламенеющей колесницей  
Обернётся поэта сон.*

*С Зороастром сядет Есенин —  
Рязанской земли жених,  
И возлюбит грозный Ленин  
Пестрядинный ключевский стих.*

А дальше — всё нежнее и сердечнее... И в “Песнях Вытегорской коммуны” Есенин — соратник и союзник против “ожелезивания” страны на фоне общей разрухи и повсеместного развала! “Не Сезанны, не вазы этрусские заревеют в восстании питерском. Золотятся в нём кудри Есенина, на стыках красногрудые зяблики; революция Ладогой вспенена, — в ней шиповник, малина да яблоки. Дождик яблочный, ветер малиновый попретил Маяковскому с Бриками; вспомнил молот над рощицей ивовой, купину с огнепальными ликами...” Ключевская революция и ключевская коммуна настолько не имеет ничего общего с коммуной ленинской — даже в идее, не говоря уже о реальности — что подумать чудовищно: он что — до такой степени был лишён зрения на происходящее? Ничего подобного! Всё видел и всё прекрасно понимал — только смотрел духовным взором, и не под ноги себе — а вдаль. В жизни — полная безыллюзорность, в мечтах — красивейшая сказка, претворимая в дальней грядущей жизни. “По зубам ли России калач чугунный с бетонным исподом, с купоросной поливою? Сердце верит: песня Коммуны зажурчит, словно ключ под ивою. В песногуде Мильтон с Кирилловым поведут говорок о белых ангелах, и Есенин в венце берилловом скажет сказку о книжных вандалах...” Пройдёт ещё два года, и в пору “воронья да злых пожаров”, “безумия, тьмы, пустоты” младший собрат его — единственная опора и надежда... “Черепка по гулким печуркам, в закомарах лешачий пляс. Ускакал за моря каурка, добрый волк и друг-Китоврас. Лучше вихорь, пески Чарджуев, на пути верблужий костяк... Мы борцы, Есенин и Ключев, за ковригу возносим стяг, за цветы в ушах у малайца, за кобылий сладкий удой! Голубка и ржаного зайца нам испёк Микула родной...” Нет ни ковриги, ни сладкого удоя — голод и смерть гуляют по стране. А Ключев творит свои картины грядущего с бесстрашием последнего русского витязя из старой былины...

Он и Есенина хотел видеть таким. И какую же боль довелось испытать ему, когда прочёл он новую поэму “борца” — “Кобыльи корабли”. Это было страшнее для Николая, чем любая “Инония”... “Если волк на звезду завыл, значит, небо тучами изглодано. Рваные животы кобыл, чёрные паруса воронов. Не просунет когтей лазурь из пургового кашля-смрада; облетает под ржанье бурь черепов златохвойный сад...” Для Ключева это было духовное падение Серёженьки. И воплощалось оно в том, что поплыл его друг по течению мёртвой, гнилой жизни реки. Нашёл вдохновение в смерти. И как тут было не вспомнить есенинское “тебе о солнце не пропеть, в окошко не увидеть рая”... А у самого рай — среди конских трупов? В кафе “Домино”?

В “Стойле Пегаса”? Да кто же из них более живой-то — Клюев, еле дышащий от голода в своей деревянной нищей Вытегре, или “устроенный” Есенин, словно бы наслаждающийся своей коллективной пирушкой среди смерти и распада? И тут уже не только и не столько “обломки рифм, хромые стопы” в есенинской поэме. Это всё — лишь следствие отмертвления души.

*Не с коловратовых полей  
В твоём венке гелиотропы,—*

*Их поливал Мариенгоф  
Кофейной гущей с никотином...  
От оклеветанных голгоф —  
Тропа к иудиным осинам.*

Написал — и словно осёкся... И долго потом вспоминал эти строки, коря самого себя за, как он думал, страшное пророчество... Угроза сменилась печалью, но печаль эта родила не менее страшные строки.

*Скорбит рязанская земля,  
Седея просом и гречихой,  
Что, перелесицы трепля,  
Парит есенинское лихо.*

(В первоначальном варианте было — “соловьиный сад трепля”... Но Клюев отказался от слишком явной переключки с Блоком. Да и “перелесицы” здесь куда более органичны — в контексте всего стихотворения).

*Оно как стая воронят  
С нечистым граем, с жадным зобом,  
И опадает песни сад  
Над материнским строгим гробом.*

Мать — символ тысячелетней Руси — в гробу, а есенинская песнь — песнь отреченца — словно ворон кружит над ней... Более жестокого приговора Есенину вынести было невозможно, но как строгая и ласковая мать после горьких слов, сказанных сыну, сменяет Клюев гнев на милость. И молит о возвращении духа потерянного в родной “запечный рай”... Рая-то уже нет. Но жив ещё “супруг духовный”.

*Словесный брат, внемли, внемли  
Стихам — берестяным оленям:  
Олонецкие журавли  
Христосуются с “Голубенем”.*

*“Трерядница” и “Песнослов” —  
Садко с зелёной водяницей!  
Не счесть певучих жемчугов  
На нашем детище — странице.*

Упоминание “Голубени” есенинской здесь совершенно к месту. Но “Трерядница”, только-только вышедшая книга, разукрашена теми самыми “имажинистскими” цветами, включает и “Кобыльи корабли”, и “Теперь любовь моя не та...” (впрочем, трудно сказать, с этим ли стихотворением попал Клюеву в руки сборник. Из части тиража это стихотворение было изъято, и нельзя исключить, что эту акцию в последний момент предпринял сам Есенин). И “Трерядницу” признал Клюев родной своему “Песнослову” по той высокой пронзительной грусти, не услышать которую не мог в последних есенинских стихах.

*Я не скоро, не скоро вернусь.  
Долго петь и звенеть пурге.  
Стережёт голубую Русь  
Старый клён на одной ноге,*



*И я знаю, есть радость в нём  
Тем, кто листьев целует дождь,  
Оттого что тот старый клён  
Головой на меня похож.*

Их диалог будет продолжаться и при жизни Есенина, и после неё...

Новая жестокая полемика развернётся, когда Николай приступит к своим первым поэмам, к “большому эпосу”, который пророчил ему Гумилёв. После двух поворотных лет, вместивших во многом роковые события клюевской жизни.

\* \* \*

Осенью 1919 года Клюев посылает письмо председателю издательства Петросовета и шурина Григория Зиновьева Илье Ионову с благодарностью за деньги, полученные в счёт новой книги, и с сообщением о своём житье-бытье.

“Дорогой товарищ, я получил от Вас две тысячи рублей, окромя трёх тысяч, которые пошли в счёт книги моей “Огненное восхождение”. Я благодарен Вам за Ваше доброе отношение как за материальную помощь, но меня несказанно радуют два-три слова в Ваших письмах, в которых притаилась просто человечность, если не сказать милосердие. Мои друзья, которые передавали Вам рукопись моей книги, люди очень чистые и чуткие, уверяют меня, что Вам можно поведать не одни денежные соображения. Они настояли на том, чтобы я обратился к Вам с настоящим письмом о следующем: идёт зима страшная, осьмимесячная гостя с мёрзлым углом, с бессапожицей, с неизбывным горем сиротства и беспощадного недуга моего. Волосы становятся дыбом, когда я подумаю о страшной зимовке с соломенной кашей в желудке, с невоплощёнными песнями в сердце. Какую нужно веру, чтобы не проклясть всё и вся и петь “Огненное восхождение” народа моего...

Я не знаю от кого, кем и как, но из Петрограда должно быть сделано предложение местному Вытегорскому исполкому изыскать возможность выдать мне паёк за (плату) из упомянутого исполкома, а не из городской лавки, тогда я буду получать 25 ф. муки, соль, немного масла, чай с сахаром, пшено и т. п.

Это так называемый комиссарский паёк, которым, надо сказать правду, зачастую пользуются люди вовсе недостойные. В общем любопытно, и мне необходимо, — узнать, найдёт ли нужным красная, народная власть уделить малую кроху “певцу коммуны и Ленина”, как недавно заявляли обо мне в Москве. Я очень страдаю. Потрудитесь в спасение моё. Родина и искусство Вам будут благодарны”.

Может создаться впечатление, что Клюев так и не выбился из нищеты с дореволюционных времён — настолько напоминает это письмо его прежние — индивидуальные и совместные с Есениным — жалобные прошения о вспомоществовании... Но есть всё же существенная разница. Те письма писались в расчёте на дополнительные деньги к гонорарам за публикации и выступления для поддержки семьи. Здесь же — самый неподдельный крик о спасении от голодной смерти, которая косою выкашивала Россию, лишь подходя к своей самой обильной жатве 1921 года.

Картины, рисовавшиеся в отчётах селькоров для “Звезды Вытегры”, воистину впечатляли.

“Ежезерская волость.

В нашей глухой и бедной волости хорошо и привольно живёт лишь небольшая кучка местных мироедов, кулаков. Эта компания умудряется даже получить тот мизерный голодный паёк, который выдаёт Уездпродком бедноте нашей волости.

Ягремская волость.

У нас в составе волостного Исполкома преобладает кулацкий элемент”.

На той же страницы номера от 1 июня печатался документ за подписью заведующего уездпродкомом и отделом снабжения уездлеса П. Беланина:

“...все меры по доставке продовольствия в такое критическое время голодающему населению будут приняты, и результаты будут опубликованы в “Звезде Вытегры”.

Слухи, что городу с 1-го будут выдаваться пайки по 7 фунтов в неделю (даже шепчут, что по 5 фунтов в месяц), совершенно неправильны и прошу им не верить”.

И здесь же – стихотворение Клюева под названием “Голод”.

*Родина, я умираю —  
Кедр без влаги в корнях,  
Возношусь к коврижному раю,  
Где калач-засов на дверях.*

*Где изба — пеклеванный шолом,  
Толоконная городьба!..  
Сарафанным алым подолом  
Обернулась небес губа,*

*Сапожки — сафьянные тучи,  
И зенит — бахромчатый плат...*

Казалось бы – вот он, вождеденный избяной рай на небесах, крестьянский мир, покинувший окровавленную, голодную землю и вознесшийся в райские кущи – клюевский мир, который он вождедел на э т о й земле... И тут же измученный, изголодавшийся поэт дарит нас поразительным признанием:

*Не Кольцов, мандолинный Кардуччи —  
Мой напевно плакучий брат!*

Это уже не подобие “Гейне в подлиннике”... Всё куда страшнее, ибо нобелевский лауреат 1906 года по литературе, итальянский поэт Джозуэ Кардуччи через отречение от романтизма и антиклерикальные выступления пришёл к сочинению гимна Сатане, о чём с нескрываемым ужасом писал Сергей Нилус:

“Известный гимн Сатане, воспетый прославленным итальянским поэтом, Джозефом Кардуччи, выражает пожелание, чтобы отныне курение фимиама и пение священных гимнов приносились Сатане как “бунтовщику против Бога”. К этим словам Нилус сделал красноречивое примечание:

“В числе возмутительных явлений последнего времени необходимо отметить в особенности следующее: некто из подписчиков журнала “Будущее Италии” сделал предложение на первый день нового 1905 года совершить “благочестивое паломничество” в дом певца Сатаны Кардуччи, бывшего вице-Великим Мастером итальянского масонства. Христианский демократический листок этот, издаваемый в Болонье, поторопился тотчас же выразить своё полное одобрение этому начинанию в таких выражениях: “Славный поэт этот хорошо знает, что восхищение наше пред ним тем искреннее теперь, что в своё время, когда мы это считали своим долгом, мы выступали против него. Наше теперешнее пред ним преклонение и инициатива паломничества в его дом с особенною силою подчёркивают ясность спокойствия нашего духа и полную объективность, столь облагораживающие миссию журналиста”... Но что превосходит уже всякое вероятие, так это то, что один из наиболее рекомендованных католических журналов передовую свою статью от 22 июня 1909 года посвятил похвале этого певца Сатаны. “Поэт этот, — пишут в журнале, — представляет собою не только величайшее имя в современной нам итальянской поэзии, но и равен знаменитейшим поэтам прошлого”. Так проникает некое “тщательно скрываемое влияние” даже в архикатолическую среду. Демонолатрическая “поэзия” со времён “декадентства” стала проникать и в Россию”.

То, что Клюев сам отдал свою дань “демонолатрической “поэзии” в последние два предреволюционных года – бесспорный факт. Но дьявольские мотивы в его стихах сопровождались картинками крушения старого мироздания – и лишь сверхпроницательный читатель мог бы определить: кружат бесы у Клюева, древние евангельские бесы, радуясь наступающему, или пустились в свою последнюю устрашающую пляску в предошущении конца и х мира?

Во всяком случае, никакого гимна им Ключев не слагал, а назвал “братом” Кардуччи именно в противовес Нилусу, чью книгу “Близь есть, при дверехъ” он, как мы уже видели, знал прекрасно... Более того, смысл этой, мягко говоря, несвоевременной полемики с православным писателем проясняется далее при их параллельном чтении.

*Родина, я умираю, —  
Погаси закат-сарафан!  
Не тебе поёт, а Китаю  
Заонежский красный баян.*

(Эта строфа позднее была исключена им из окончательной редакции. Может быть, понял, что перегнул палку.)

*Стать бы жалким чумазым кули,  
Горстку риса стихами чтя...  
Нижег голод, как чётки, пули,  
Костяной иглой шелестя.*

Мнится, на первый взгляд, отречение от России, уничтожаемой голодом и войной. И уже не Индия, а Китай как вожделенная земля встаёт перед глазами нищего поэта... На самом деле — это новое обращение к книге Нилуса, недвусмысленно писавшего в ней о “Поднебесной Империи”:

“Китаец, можно, сказать, сатанист уже по своему темпераменту. Для него удовольствие в том, что своё боярство он представляет себе и изображает в образе самом отвратительном и отталкивающим... То божество, под чьё покровительство ставит себя Китай, повсюду, даже на его национальном флаге, изображается им в образе отвратительного дракона. Это сатаническое чудовище, когтисое и хвостатое, с незапамятных времён и поныне представляет собой национальную китайскую эмблему. У китайцев всё во вкусе специфически-сатанинском: повсюду зубчатое, двурогое; всюду — когти и хвосты дьявола... А сам китаец? под рукавами его одежды как бы обрисовываются когти, а голове украшением служит хвост. У этого народа сатанизм выставляется как бы напоказ с особой демонстративностью.

В заключение надлежит отметить, что китайцы не только упорствуют в своём заблуждении, не поддаваясь евангелизации хуже дикарей Океании, Америки и самых варварских племён Африки, но они, кроме того, ещё и ненавидят страшной ненавистью, доходящей до жесточайшей злобы, всех христиан без различия их исповедания”.

Даже значительную часть правды, содержащуюся в этих словах, Ключев принять не мог и не хотел — ибо Китай рисовался в его воображении совершенно в ином ореоле.

*Гималаи видели ламу  
С ячменным русским лицом...  
Песнописец, Волгу и Каму  
Исчерпаю ли пером,*

*Чтобы в строчках плавали барки,  
Запьятые, как осетры!?  
Половецкий голос татарки  
Чародейней пряжи сестры:*

*В веретёнце — жалобы вьюги,  
Барабинская даль — в зурне...  
Самурай в слепящей кольчуге  
Кушиную предстанет мне,*

*Совершит обряд харакири:  
Вынет душу, слёзку-звезду...  
Вспомнет ли о волжской шири  
Китайчонок в чайном саду?*

*Домекнутся ли по Тянь-Дзину,  
Что под складками че-чун-чи  
Залевают, ласкаясь к сыну,  
Заонежских песен ключи?*

Многое в этих строках современному читателю останется непонятным, если не будет он знать о страшной трагедии 1900 года – о “боксерском восстании” ихэтуаней в Китае. Это была самая настоящая религиозная война – и восставшие с поистине “страшной ненавистью, доходящей до жесточайшей злобы” уничтожили Российскую Духовную миссию, основанную ещё Петром I, сожгли Успенский храм и убили более 200 православных китайцев наравне с русскими.

После того, как русские войска под командованием генерала Н. П. Линевича вместе с союзниками взяли Пекин и подавили восстание, останки русских мучеников были захоронены в единой братской могиле, а над ней поставлена часовня Христа Спасителя. Позднее в их память был выстроен православный храм в Тяньцзине.

Так Восток – во всей своей красочности, жизненном и культурном многообразии, осеняемый Духом Святым, снова становится союзником поэта в его противостоянии с “железным Западом”, уже в пореволюционное время. И здесь Клюев вступает в очевидную полемику и с Нилусом, и с Владимиром Соловьёвым – с его работой “По поводу последних событий”, как раз посвящённой ихэтуаньскому восстанию, – и отталкивается от строк из письма Константина Леонтьева, написанном в Оптиной пустыни, где народы, распустившиеся в “ненавистной всеевропейской буржуазии”, будут “пожраны китайским нашествием”... И от смыкающихся по смыслу пророчеств св. Иоанна Кронштадтского – “освобождение России придёт с Востока”, и иеросхимонаха Аристоклия Афонского – “...конец будет через Китай”.

Но для Клюева это не “конец”, а начало новой жизни, жизни, вдохновлённой мученической кончиной русских и православных китайцев, покоящихся в одном погребении.

А что касается “ненавистной всеевропейской буржуазии”, то её наступление на русский мир не прекращалось – ни духовное, ни материальное, ни военное – сколько помнил себя Николай. И нынешние экспедиционные американские, английские, французские корпуса, вместе с немецкими военными частями рвущие на части многострадальную родину, – лишнее тому свидетельство.

*Безголовые карлы в железе живут,  
Заплетают тенёта и саваны ткнут,  
Пишут свиток тоски смертоносным пером,  
Лист убийства за чёрным измены листом.*

*Шелест свитка и скрежет зубила-пера  
Чуют Сон и Раздумье, Дремота-сестра...  
Оттого в мире темень, глухая зима,  
Что вселенские плечи болят от ярма,*

*От железной пяты безголовых владык,  
Что на зори плетут власяничный башлык,  
Плащаницу уныния, скуки покров,  
Невод тусклых дождей и весну без цветов!*

И всё же... В железе, давящем всё живое, Клюев ищет ту же песню и любовь, что одухотворяет всё земное бытие. И жаждет “допросить бы мотыгу и шахт глубину, где предсердие руд, у металла гортань, чтобы песня цвела, как в апреле герань”... Иллюзия? Сказка? Но без неё и жизнь не в жизнь.

\* \* \*

1 ноября 1919 года член коллегии Наркомвнудела и зав. Отделом управления Петросовета С. Равич направила в Вытегорский уисполком письмо с просьбой о помощи голодающему поэту: “Уважаемые товарищи, у вас в Вы-

тегре живёт широко известный поэт Николай Клюев. Он находится в чрезвычайно трудных продовольственных условиях. Николай Клюев – истинный пролетарский поэт и певец Коммуны. Творчество его дорого рабочему классу и трудовому крестьянству. Необходимо ему дать возможность заниматься спокойно своим хорошим дорогим нам делом. Исполкому надо позаботиться о том, чтобы Клюев был обеспечен сносным пайком и на зиму дровами. Не сомневаюсь, товарищи, что вы сейчас же сделаете это и тем самым дадите возможность поэту петь свои песни столь близкие народу”. От вытегорских властей – ни ответа, ни привета, ни помощи. Вновь посылается из Петрограда соответствующее письмо с резолюцией: “Вторично. Сделать письменное распоряжение: продкому, уездлесу и Трамоту, с донесением исполкому о принятых мерах и ответить Равичу о сделанном исполнении”. Клюев посылает письмо в Вытегорскую уездную продовольственную коллегию, где “на основании телеграфного распоряжения из центра о снабжении меня продовольствием” просит отпустить муку, соль, растительное масло, крупы, картофельную муку, соль, спички... И, наконец, из Вытегры в Петроград идёт телеграмма: “Обеспечению всем необходимым поэта Клюева меры приняты. Предсовдепа Беланин”.

Когда Клюев писал Ионову о “недостойных людях”, которые “пользуются комиссарским пайком” – он не обманывал и не преувеличивал. В Вытегре и по всей губернии, как, впрочем, и по стране в целом, творилось в это время что-то фантазмагорическое. Свидетельство тому – статья Александра Богданова в “Звезде Вытегры” под красноречивым названием “Внутренний жандарм”.

“Там проворовался член исполкома, там исчез коммунист с крупными деньгами, там чрезвычайные комиссии реквизируют направо и налево у перепуганных обывателей мебель, последние запасы хлеба.

Иногда такие реквизиции принимают анекдотический характер. Реквизируется без всяких оснований мелочь вроде шёлковых перчаток, бутылки чернил, несколько пачек папирос и т. п. Всё это ничто иное, как голос внутреннего жандарма.

Этот голос проявляется или невинно, в виде личных визитов товарищей в галифе с револьверами, или сопровождается насилиями, расстрелами.

Победить внутреннего жандарма, в волнах революции выстирать свою душу – вот наши неотложные задачи”.

“Жандарм” сей был, что называется, “на своём месте”. Коли “Вся власть – Советам!”, значит – мне. А коли мне власть – что хочу, то и ворочу!

Богданов, словно лоя с губ клюевское слово, закликает, как древний проповедник, своих земляков с газетного листа.

“Заблестали молнии революции. В Петроград прибыл первый социал-демократ – Голод. Под стон февральских мятежей, песни октябрьских дождей родилось “Пламя, всему миру – Назарет”...

Больше братского единения и обнажённости.

– Будем строить –

– Во имя Солнца!”

(“Звезда Вытегры”, 13 августа”).

“Братья-интеллигенты, не насиуйте душу народную. Итак почти всё ослёвано.

Посмотрите на красные мечи Зари! Почернел старый мир, как червь на солнце.

Братья, слышите ли вы звоны серафимовых крыл в громах русской революции...” (“Звезда Вытегры, 31 августа”).

Это буквальное воспроизведение стиля клюевской проповеди – его статей, которые поэт публикует в той же газете и которые он складывает в книгу “Огненное восхождение”, посланную им в Петроград и пропавшую бесследно.

“Какую нужно веру, чтобы не проклясть всё и вся и петь “Огненное восхождение” народа моего...” Он и пел в течение всего 1919 года, о котором скажет потом в “Погорельщине”: “Год девятнадцатый, недавний, но горше каторжных вериг...” А тогда – не вериги тянули вниз, но незримые крылья возносили к чаемому Солнцу – и статьи – нет, не статьи – стихотворения в прозе, и даже не они – слова в апостольском духе исходили из-под его пера при старой копильне... И вещались на площадях и собраниях.

“Алое зеркальце”, “Сдвинутый светильник”, “Красные орлы”, “Красный набат”, “Газета из ала, пляска Иродиадина”, “Сорок два гвоздя”, “Порванный

невод”, “Огненная грамота”, “Медвежья цифирь” – вот из чего складывалось “Огненное восхождение”, слово икона “Спас в силах” писалась.

“Помню, мамушка-родитель лампадку зажигала: одиннадцать полонов простых, а двенадцатый огненный, неугасимый. От двенадцатого поклона воспламенялась громовая икона, девятый вал Житейского моря захлёстывал избу, гулом катился по подлабочьям, всплёскивался о печной берег, и мягкий, замечительный, вселяя в душу вербный цвет, куличневый воскресный дух, свмирал где-то на задворках, в коровьих, соломенных даялах...

И Смерть-пастух с суковатым багом в пятку ушла. Ступлю и главу её сокрушаю... Коммунист я, красный человек, запальщик, знаменщик, пулемётные очи... Эй, годы – старые коровы! Выпотрошу вас, шкуры сдеру на сапоги со скрипом да алыми закаблущьями! Щеголяйте, щёголи, разинцы, калязинцы, ленинцы жаркогрудые!..

Слушаю свою душу – степь половецкую, как она шумит ковыльным диким шумом. Стонет в ковылях златокольчужный витязь, унимает свою секирную рану; – только ключ рудный, кровавый не уёмен...

И за ветром свист сабли монгольской. Чисточетверговая свечечка Громовую икону позлащает. Мчится на огненном тарантасе, с крыльями, бурным ямщиком в воздухах, Россия прямо в пламень неопалимый, в халколиван калёный, в сполохи, пожары и пыхи преднебесные...

Красные люди любят мою икону, глядятся в халколиванную глубину, как в зеркало. “Куличневый дух в нашем знамени”, – говорят...” (“Огненное восхождение”).

“Коммунары уходят на фронт.

Обнажайте головы!

Опалите хоть раз в жизни слезой восторга и гордости за Россию свои холопские зенки, вы – клеветники и шипуны на великую русскую революцию, на солнечное народное сердце!

Дети весенней грозы, наши прекрасные братья вступили в красный, смертный поединок.

Солнце приветствует их!..

Мы кланяемся им до праха дорожного и целуем родную, голгофскую землю там, где ступила нога коммунара..! (“Красные орлы”).

“Ключи от врат жизни вручены русскому народу, который под игом татарским, под помещицей плетью, под жандармским сапогом и под церковным духовным изнасилованием не угасил в своём сердце света тихого невечернего, – добра, красоты, самопожертвования и милосердия, смягчающего всякое зло. Только б распахнуть врата чертога украшенного в благоуханный красный сад, куда не входит смерть и дырявая бедность и где нет уже ничего проклятого, но над всем алая сень Дерева Жизни и справедливости...

Кто же собирается вокруг нечистого престола капитала?

Богачи и льстецы, хотящие стать богачами, падшие женщины, бесчестные пособники тайных пороков, шуты, сумасшедшие, развлекающие совесть своего владыки, и лжепророки, променявшие Христа на сатану, воскуряющие фимиам виселице и осеняющие распятием кровавую плаху...

Молодой воин, куда идёшь ты?

Я иду сражаться за бедных, за то, чтобы они не были больше навсегда лишены своей доли в общем наследии.

Я иду сражаться за то, чтобы изгнать голод из хижин, чтобы вернуть семьям изобилие, безопасность и радость.

Я иду сражаться за то, чтобы всем, кого угнетатели бросили в тюрьмы, вернуть воздух, которого недостаёт их груди, и свет, который ищут их глаза.

Да будет благословенно оружие твоё, молодой воин!” (“Красный набат”).

Каждое слово жгло и вдохновляло слушающих. Клюев был для них своим, понятным – и в то же время виделся словно объятым неземным пламенем на многолюдных митингах.

“Было в нём что-то львиное, – вспоминал Григорий Ступин, – когда он на прощальном митинге, отправляя нас на Мурманский фронт в Петрозаводск, гремел на всю центральную площадь Вытегры и подходы к ней разных улиц, призывая нас, “своих детушек” (а мы все были моложе его), защищать Мать-Революцию, Рабочую и Крестьянскую Родину от белого многоплеменного Змея-Чудовища”... Мужики, стоявшие рядом, заряжались его энергией и говорили промеж себя: “Густо говорит”, “Сильно говорит”, “Знать, и нам придётся защищать Мать-Революцию...”, “Пойдём, лишь кликнул клич”...

Схожее впечатление осталось и у служащего Олонецкого губернского земства Александра Романского:

“Выражался он очень образно, поэтому иногда его было трудно понять. Неожиданными были сравнения и сопоставления. Говорил размеренно, чётко, без запинок. Как сейчас вижу: стоит, одна рука приложена к сердцу, другая взметнулась вверх, сияющие, воспалённые глаза, и говорит иногда громко очень, иногда совсем тихо...”

Никогда я ещё не видел и не слышал, чтобы говорили так горячо, чтобы оратор так сильно мог захватить слушателей. Все, затаив дыхание, слушали слова, которые лились красиво и свободно...”

В личном же общении Ключев совершенно менялся. Он был ласков, внимателен и заботлив с каждым собеседником – и держался при этом с истинным достоинством. Ни малейшей игры, столь запомнившейся пристрастным современникам из бывшей столицы, земляки его не видели.

...Голод изматывал, борьба за жизнь не прекращалась ни на день. Гражданская война всё полыхала. А Ключев выступал, читал всё новые и старые произведения – и писал стихи, что складывались в его “евразийскую” книгу, которую он позже назовёт “Львиный хлеб”.

*(Продолжение следует)*